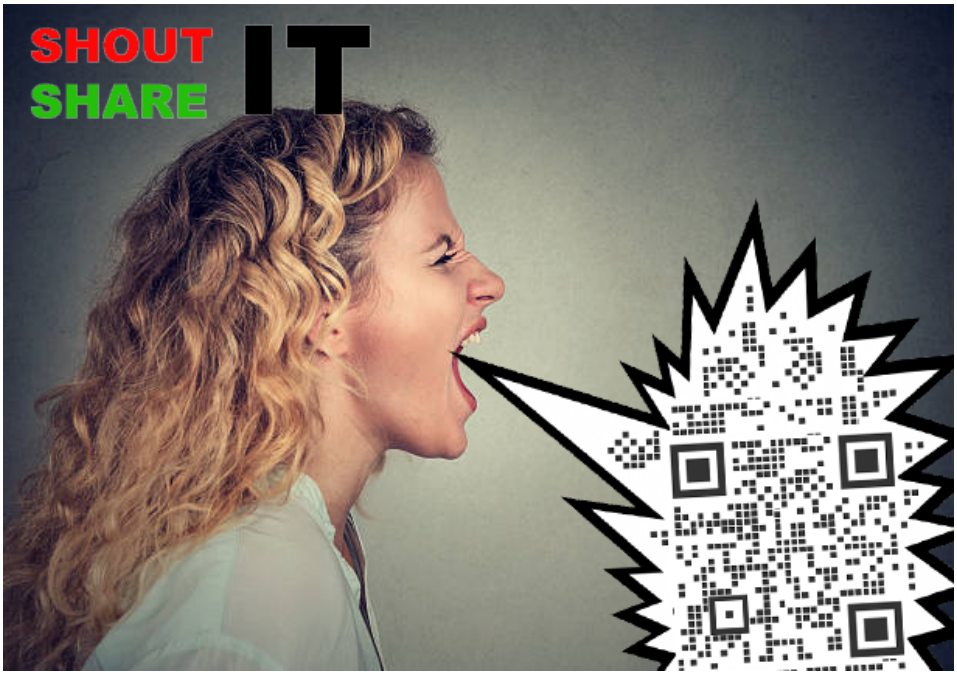
Гоголь и о. Матвей Константиновский

Мемуары и переписка - 1

Иван Леонтьевич Леонтьев-Щеглов


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)

- И. Л. Леонтьев-Щеглов
  - ○
- notes
  - ○ 1

И. Л. Леонтьев-Щеглов
Гоголь и о. Матвей Константиновский

В сокращении

В Оптиной пустыни я слышал такой рассказ о первой встрече в одном московском доме Гоголя с пресловутым ржевским протоиереем о. Матвеем Константиновским. Гоголя представляют о. Матвею. О. Матвей строго и вопросительно оглядывает Гоголя:

— Вы какого будете вероисповедания? Гоголь недоумевает:

— Разумеется, православного!

— А вы не лютеранин?

— Нет, не лютеранин…

— И не католик?

Гоголь окончательно был озадачен:

— Да нет же, я православный… Я — Гоголь!..

— А по-моему выходит — вы просто… свинья!! — бесцеремонно отрезал о. Матвей. — Какой же, сударь, вы православный, когда не ищете благодати Божьей и не подходите под пастырское благословенье?..

Гоголь смутился, растерялся и затем во все время беседы о. Матвея с другими гостями сосредоточенно молчал. Очевидно было, резкое слово ржевского протоиерея произвело на него неотразимое впечатление. Да и не на него одного только. Профессор Московского университета Шевырев, присутствовавший при этой сцене, по уходе о. Матвея громко воскликнул:

— Вот так гремели в древности златоусты!..

В этом кратком, но характерном рассказе, счастливо уцелевшем в преданиях оптинских иноков, сразу, так сказать, вылился весь о. Матвей с его властным тоном и вместе с тем сразу фатально определились взаимные отношения между гениальным, но хворым и безвольным писателем и ограниченным, но обладавшим несокрушимо твердой волей ржевским пастырем. Если даже принять помянутое бесцеремонное слово о. Матвея как своего рода тяжеловесную остроту (гоголь — название также известной породы уток), дело от этого нисколько не меняется… «Я — Гоголь!», то есть я

известный писатель, подчеркивает втайне оскорбленный Гоголь… А о. Матвей и своим словом, и своим тоном подчеркивает, что это ему совершенно безразлично, и выдвигает на первый план авторитетно подавляющую власть своего священнического сана. Возникает таким образом как бы несогласное принципиальное единоборство писательского подвижничества, с одной стороны, и иерейской строптивости, с другой… Увы, у одра больного нищенствующего писателя взяла верх власть духовно-инквизиторская, то есть превозмогли о. Матвей и граф А.П. Толстой (бывший обер-прокурор Святейшего синода), в доме коего, как известно, скончался Гоголь.

Что же такое был о. Матвей — этот несомненно ограниченный, но несомненно сильный человек, имевший такое огромное влияние на свою ржевскую паству, столь высоко чествуемый в богомольных домах Москвы и Петербурга и сыгравший такую губительную роль в судьбе автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?.. Прежде всего это был человек, который стоял не на своем месте, иначе говоря, настоящее его место было отнюдь не на амвоне городского храма, а в строгом монастырском скиту, куда, как очевидно из его биографии, он неудержимо стремился с самых юных лет… На эту черту юности о. Матвея не обращено почему-то достаточного внимания, а между тем именно она дала совсем особую окраску всей его последующей деятельности. В бытность свою в тверской семинарии о. Матвей, как свидетельствует его биограф Н. Грешищев, избрал в роще Желтикова монастыря на берегу реки Тьмаки глухое место, куда часто уединялся для молитвы и для оплакивания своих грехов. Но как раз умирает его отец, мать о. Матвея остается в бедности с двумя малолетками на руках, и скрепя сердце он вынужден распроститься с заветной мечтой о спасении в монастырском скиту и превратиться в сельского дьякона. Казалось бы, в суете труженической крестьянской жизни зачатки аскетизма и фанатизма, питавшие его юность, должны были заглохнуть… Ничуть не бывало: в борьбе с препятствиями они лишь переплавились в другую форму и как бы закалились в своей затаенной непримиримости… Здесь именно следует искать причину его столь стремительного и тягостного давления не на одного только Гоголя… Если вы внимательно проследите помянутую биографию, составленную Грешищевым и представляющую сплошной панегирик о. Матвея, вы увидите, как эта неукротимая фанатически-аскетическая струя просачивается почти всюду в жизни и деятельности означенного пастыря.

Признаюсь, я не мог читать без горькой улыбки умилительных восхвалений биографа проповеднической

деятельности о. Матвея в селе Эське. По свидетельству биографа, за три года пастырства о. Матвея шумное и веселое село нельзя было узнать: мирские песни и игры в селе почти прекратились и в большинстве домов их заменили духовные каноны и душеспасительные беседы; даже малые дети в своих детских сборищах стали распевать исключительно тропари и кондаки… Для чего же, спрашивается, существует после этого в мире Божьем… радостное дыхание весны, любовь, звонкий детский смех и раздольная русская песня?!..

Но надо отдать справедливость последовательности о. Матвея — насколько требователен он был к своей пастве, настолько же требователен к своей семье и неумолимо строг по отношению к самому себе… Последние десять лет он был, как известно, штатным протоиереем ржевского Успенского собора и за все это время не только не пропустил ни одной церковной службы, но также требовал аккуратного присутствия на богослужении от своих домашних (при этом никаких опущений или сокращений в службе не допускал и малейшую поспешность в чтении строго изгонял), равно никому из семейства не позволялось до обедни пить и есть, нарядно одеваться и вообще обычным мирским способом развлекаться. В долгие осенние и зимние вечера, когда вся семья его сидела за работой, он читал вслух Библию или Четьи-Минеи, и все должны были смиренно слушать или петь совместно священные псалмы. Сам он, живя в бойком торговом городе, жил в миру, как в скиту: мяса не вкушал, вина и никаких напитков никогда не пил, лишние деньги раздавал бедным и с трех часов пополуночи был уже на молитве. Вера его действительно была несокрушима, а самообладание духа в тяжкие минуты жизни подчас прямо удивительно… Однажды осенью, когда о. Матвей с семьей и прислугой находился в соборном храме у всенощной, загорелся его дом. Явившись на место пожарища, о. Матвей озабочен был одним, чтобы были спасены иконы, а затем, когда от его дома со всем имуществом и ценной библиотекой осталась груда пепла и кирпичей, громко восславил Бога и как ни в чем не бывало отправился с семьей в первый попавшийся купеческий дом, где ему предложили ночлег.

Почтенный оптинский инок (о. Э. В-й), которого мне посчастливилось обрести в пустыни и который в юности своей был письмоводителем у о. Матвея по раскольничьим делам, поведал мне немало любопытного об этой оригинальной личности. Два-три рассказа из уст современника о. Матвея дорисовали мне фигуру последнего лишним ярким штрихом… Несокрушимость его веры являла иногда примеры поистине невероятные. Как-то летом отправился он по делам в город

Торжок и дорогой жестоко заболел, чуть ли не холериной. В это время в городе Торжке происходил ремонт соборного храма и неожиданно была открыта под алтарем могила преподобной Иулиании. Богомольные люди поспешно бросились к заветному месту и повычерпали как целительное средство всю воду, наполнявшую могилу. Когда, невзирая на свою болезнь, на место прибыл о. Матвей, на дне могилы оставались лишь комья липкой и вонючей грязи. Недолго думая, о. Матвей опустился на самое дно, собрал благоговейно эти остатки, съел их… и совершенно выздоровел. И такой случай религиозного экстаза в жизни о. Матвея не единственный!

Когда по одному доносу (о том, будто он смущал народ своими проповедями) его вызвали к тверскому архиерею, и тот стал кричать на него, грозя упрятать его в острог, о. Матвей отрицательно закачал головой:

— Не верю, ваше преосвященство!

— Как ты смеешь так отвечать? — загремел владыка.

— Да, не верю, ваше преосвященство, потому что это слишком большое счастие… пострадать за Христа! Я не достоин такой высокой чести!

Эти слова так озадачили владыку, что он с тех пор оставил о. Матвея в покое.

Впрочем, вскоре о. Матвею действительно пришлось пострадать, и притом далеко не на шутку. Как известно, добрую половину жизни о. Матвей провел в борьбе с ржевскими раскольниками, и вот однажды в раскольничьем скиту он обрел неведомо чью мертвую голову, по некоторым слухам, принадлежащую преподобному Савве. Этого было вполне достаточно, чтобы религиозный экстаз неудержимо охватил протоиерея Константиновского. Без всяких дальнейших осведомлении, без спроса архиерея и подлежащего начальства он взял эту голову и с крестным ходом, с хоругвями и иконами при пении и колокольном звоне торжественно перенес в ржевский собор для поклонения. Эта самовольная канонизация не прошла ему даром, и дело дошло до Святейшего синода и московского митрополита Филарета. Ввиду полной загадочности головы она отправлена была на хранение в Тверской кафедральный собор, а на голову о. Матвея обрушились все невзгоды судебной волокиты, особенно тягостно отразившейся на жене о. Матвея, которая, по свидетельству биографа о. Матвея, от сильной скорби впала в чахотку и быстро угасла.

В числе добрых заступников о. Матвея, впутанных в это дело, находился также ныне покойный Тертий Иванович Филиппов, который ездил даже по этому поводу к московскому святителю.

Из любопытного письма Т.И., обретенного мною в Оптиной пустыни (у вышеупомянутого почтенного инока), явствует, между прочим, что вся эта история сановному заступнику была не особенно по душе… Позволю себе выписать, с разрешения владельца письма, заключительные его строки, особенно ценные как беспристрастная характеристика о. Матвея лицом, близко его знавшим: «Дело о ржевской голове очень затруднительно… Показания о. Матвея в этом деле для меня не имеют цены; как вам известно, он ни на минуту не выступал из области чудесного и явлениям самым обыкновенным любил придавать чрезвычайный смысл. Я испытал сам на своей душе вредное влияние этой черты его ума; суеверие, в которое он впадал, прилипло и к моему уму, и мне нужны были усилия, чтобы освободить свою душу от этого порабощения. И тут было не без опасностей, ибо всякий переворот, как в государстве, так и в человеческой душе, совершается всегда с сильным брожением, всегда близким к беде. Вот почему я не могу принять никакого участия в возбуждении дела, которое ныне забыто и которое нуждается в новых явлениях, чтобы привлечь к себе внимание церковной власти… Ваш Т. Филиппов».

Вы видите из этого небольшого интимного отрывка, что даже такой здоровый организм, как Т.И. Филиппов, подвергся одно время опасности гипноза со стороны о. Матвея; что же должно было испытывать после этого хилое существо Гоголя, изможденное вдобавок душевными и материальными терзаниями, при одном появлении на пороге этого ржевского Савонаролы!..

А между тем, по свидетельству того же Т.И. Филиппова, наружность этого ржевского Савонаролы не представляла ровно ничего внушительного. Не будь рясы и наперсного креста, его легко можно было бы смешать с любым мужиком из того самого села Эськи, в котором он некогда жил и проповедовал: приземистый, сутуловатый, с серыми тусклыми глазами, с жидкими волосами и широким плоским носом, он производил с первого взгляда самое ничтожное впечатление. Но что значит сила воли, смелость речи и — да простят мне поклонники о. Матвея резкое слово — известная доля бесцеремонности! Особенно это много значит и всегда значило в нашем шатком, беспринципном и малокультурном обществе, падком, как муха на мед, на всякое самовластное слово, всякую невиданную диковину…

Теперь добавьте ко всему вышесказанному об о. Матвее, что этот человек обладал несомненным даром красноречия — красноречия мужицки-грубоватого, но властного и образного, и для вас станут, полагаю, достаточно ясными и своеобразность его

фигуры, и значительность его влияния.

Т.И. Филиппов особенно пленяется народным складом речей ржевского проповедника и в своих воспоминаниях добавляет, что о. Матвей вообще любил говорить и готов был говорить без конца, лишь бы его слушали. К сожалению, у нас нет под рукой образца проповеднического красноречия, столь восхищавшего Т.И. Что же касается до писем о. Матвея, опубликованных в шестидесятых годах в «Домашней беседе», то, на наш откровенный взгляд, в своей сущности дальше общих фраз они не идут, но резкий, почти отрывистый слог писем, их общий простонародно-фамильярный тон и аскетически-нетерпимое направление придают им оригинальную окраску и делают их драгоценными документами для характеристики о. Матвея… В письме какому-то бойкому ржевскому торговцу о. Матвей между прочим пишет: «Ради Бога, не прилепляйся к земному, брат!» — и эта фраза служит как бы камертоном ко всем его письмам. Например, некто Ф. С-ч, человек, очевидно, крепкого организма, вознамерился жениться в третий раз и спрашивает совета о. Матвея. Разумеется, совет о. Матвея: «Не прилепляйся к земному». «Ты пишешь, что тебе без жены жить трудно, — а кому же легко было достигать царствия небесного? Кто без труда и без нужды получил оное? Смотри, брат, здесь мы гости: домой собирайся. Не променяй Бога на дьявола, а мир сей на царство небесное. Миг один здесь повеселишься, а вовеки будешь плакать». И в следующем письме следует рецепт, как умерщвлять «гады страстные»: «Поменьше да пореже ешь, не лакомься, чай-то оставь, а кушай холодненькую водицу, да и то, когда захочется, с хлебцем; меньше спи, меньше говори, а больше трудись, да меньше гордись… Ходи почаще на кладбище к женам и спрашивай у праха их: что, пользовали ли их удовольствия телесные?..»

Жалуется ему какой-то сельский дьячок на свое плохое житье-бытье с видимым простодушным расчетом на материальную поддержку или протекцию для получения сана дьякона. Со стороны о. Матвея ответ один и тот же: «Молись в свое время, вина не пей совсем, никого не осуждай и положи себе за правило: или прочесть пятьсот раз в день Иисусову молитву, или Спасителю акафист, или главу из Евангелия и Апостола, то увидишь помощь Божью… Не грусти, живи, за все Бога благодари. Прощай, брат, спасайся!».

Гонит купец-самодур из дому своего сына — тот с слезным прошением к о. Матвею о заступе. А о. Матвей в ответ на это: «Не отец гонит, а Бог вызывает, чтобы вы не были участниками с неправдой собранного стяжания. Смотри же с радостью, как Авраам, прими этот глас и пикнуть не смей! Боже тебя сохрани!

Если будешь слушать совета мудрого сатаны, он никогда на добро не научит…».

Или вот еще крайне характерный образчик стиля о. Матвея — письмо к неизвестному «бестолковому Матвею»: «Брат о Христе, Матфей, бестолковый, как и я! Жаль мне тебя. Тебе трудно, а дело-то идет ладно. Ты не вышел от отца-то, ну, так и быть. Бог поправит; не скучай, брат. Ты стоишь на правом пути, он тесен, да верен. Ступай, не ошибешься: царствие Божие нудится. Явится Христос, и будет тихо и ясно и все прекрасно».

И т. д., и т. д.

Письма о. Матвея к Гоголю, по-видимому, безнадежно затеряны, но уже по вышеприведенным образчикам можно приблизительно судить, с каким наивно-дидактическим багажом подошел этот самонадеянный оратор к нашему гениальному писателю в самый острый момент его душевно-писательского перелома… С другой стороны, письма самого Гоголя неизбежно бросают свой отражательный свет на вероятную сущность этих жестких ржевских откликов. Мы уже знаем об эффекте первой встречи Гоголя с о. Матвеем. Достоверность ее подтверждает устное свидетельство Т.И. Филиппова моему доброму знакомому оптинскому иноку, но из дальнейших событий можно думать, что все же это была лишь мимолетная случайная встреча в толпе гостей и настоящее сближение и вместе с тем недоразумение между Гоголем и о. Матвеем началось собственно с посылки первым в Ржев экземпляра «Переписки с друзьями»…

И в самом деле, разве это не жесточайшее недоразумение? Книга наихристианнейшая по существу своему, строгая мораль коей под стать иным страницам «Добротолюбия» и «Цветника Духовного», возбуждает беспощадное порицание ржевского проповедника как вреднейшее и соблазнительнейшее сочинение, за которое автор понесет должную кару на Страшном Суде!..

Этот ответ произвел на Гоголя донельзя удручающее впечатление. После целого ряда оскорбительных и негодующих упреков, посыпавшихся на Гоголя после выпуска в ответ «Переписки», он недаром вспомнил об о. Матвее, рассчитывая, очевидно, услышать от духовного пастыря слово любви и утешения, которое умиротворило бы его испуганную душу. И что же? Духовный пастырь оказывается в своем суждении еще неумолимее его мирских судей!.. Было от чего прийти в отчаяние… Однако в начальных двух-трех обширных посланиях к о. Матвею Гоголь еще делает последние попытки защитить себя и свое писательское призвание: «Не могу скрыть от Вас, что меня очень испугали слова Ваши, что книга моя должна произвести вредное действие, и я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени

оставался после этих слов в состоянии упасть духом; но мысль, что безгранично милосердие Божие, меня поддержала… Желание и жажда добра, а не гордость подтолкнули меня издать мою книгу… Статью о театре я писал не с тем, чтобы приохотить общество к театру, а с тем, чтобы отвадить его от развратной стороны театра, от всякого рода балетных плясовиц и множества самых страстных пьес, которые в последнее время стали кучами переводить с французского» (из письма из Неаполя 9 мая 1847 года). «Если писателю дан талант, то верно недаром и не за то, чтобы обратить его в злое. Если в живописце есть склонность к живописи, то верно Бог, а не кто иной, виновен в этой склонности… Примеры сильнее рассуждения; нужно только для этого писателю уметь прежде самому сделаться добрым и угодить жизнью своей сколько-нибудь Богу» (Остенде, 24 сентября 1847 года). И далее опять из Неаполя (12 января 1848 года): «Книга моя есть произведение моего переходного душевного состояния, временного, едва освободившегося от болезненного состояния… Дело в том, что книга это не мой род. Но то, что меня издавна и продолжительно занимало, это было — изобразить в большом сочинении добро и зло, какое есть в нашей русской земле, после которого русские читатели узнали бы лучше свою землю, потому что у нас многие, даже и чиновники, и должностные, попадают в большие ошибки по случаю незнания коренных свойств русского человека и народного духа нашей земли. Я имел свойства всегда замечать все особенности, свойства человека от малых и до больших и потом изобразить его так перед глазами, что, по уверению моих читателей, человек, мною изображенный, оставался, как гвоздь в голове, и образ его так казался жив, что от него трудно было отделаться. Я думал, что если я с моим умением изображать живо характеры узнаю получше многие вещи в России и то, что делается внутри ее, то я введу читателя в большее познание русского человека».

В отмеченных строках как бы робко вспыхивает сознание своей правоты и своего писательского достоинства, но таких строк немного. Рядом с ними уже звучит покаянная нота, вызванная властной укоризной ржевского корреспондента. В дальнейших посланиях к о. Матвею нота эта окончательно преобладает, и некоторые из них, как, например, письмо из Одессы от 21 апреля 1848 года и из Москвы от 9 ноября 1851 года — сплошные покаянные каноны… То он сокрушается, что краткие молитвенные минуты его «расхищаются» и незваные и непрошеные гости — творческие образы — уносят его в помышлении Бог весть в какое место, то кается в греховной тьме своего сердца, лукаво смущаемого «духом-искусителем», и

терзается втайне, что накануне отправления к Гробу Господню вместо того, чтобы думать о спасении собственной души, неотступно думает лишь об одном… «о спасении Русской земли»!..

И Гоголь мучительно попрекает себя, как в величайшем преступлении, в самомнении и неумении «пожертвовать земным небесному», то есть именно в том, в чем его неутомимо укорял его ржевский опекун.

Что делать, о. Матвей во всех случаях оставался верен себе: сельскому дьячку, зажиревшему аристократу, ржевскому лавочнику… и автору «Ревизора» и «Мертвых душ» отпускал один и тот же знакомый рецепт: «Не прилепляйся к земному, брат!..». Это, между прочим, не мешало ему одновременно хлопотать о пристройстве через Гоголя своей дочери в Шереметевский приют и пользоваться другими земными услугами больного и удрученного сложной творческой работой писателя, вроде высылки учебников его сыну, некоторых личных поручений по книжной части и проч.

«Не прилепляйся к земному…»

Тут уже выходит не только горькое недоразумение, но прямо какая-то беспощадная ирония жизни! Судите сами: художнику, весь смысл существования которого заключается в его великом труде, вдруг властно внушают, что этот самый труд чуть ли не наваждение сатаны и, в самом благополучном случае, плод человеческого самомнения. Гм… самомнение!.. А разве, спрашивается, это не величайшее самомнение человеческое со стороны полуневежественного недавнего сельского попа — вторгаться в чуждую и совершенно неведомую ему область художественного творчества и варварски хозяйничать в ней, точно в накрытом раскольничьем скиту?.. «Надо пожертвовать земным небесному», «Надо делать Божье дело», «Надо исполнять волю Пославшего», «Надо каждому нести свой крест» — вот обычные фразы, мелькающие в обличениях о. Матвея. Разумеется, многое пустяки в сравнении с вечностью, но именно далеко не пустяки всякое истинно художественное произведение как неизбежно заключающее в себе залог небесного и вечного. И когда великий художник, пренебрегши обычными благами жизни, полагает всю свою душу на годами выстраданное произведение, разве тем самым он не жертвует «земным небесному», не делает «Божье дело», «исполняя волю Пославшего». И уж, конечно, кого другого, а не Гоголя пристало учить, что «надо нести свой крест»: он ли еще, спрашивается, не нес тягостнейший из писательских крестов и не заплатил безвременной кончиной за свое художническое подвижничество?!.

Нельзя не подчеркнуть здесь еще одной жестокой иронии. Судя по словам А.О. Смирновой, во второй части «Мертвых душ» должны были фигурировать в числе положительных типов идеальный губернатор и священник. Что до второго типа, то, надо думать, что встреча с о. Матвеем не осталась бы без следа для второй части «Мертвых душ», если бы ей суждено было завершиться по намеченному плану. Но этому не было суждено. Увлекшись, несомненно, «как художник» оригинальной личностью о. Матвея, Гоголь в то время незаметно подчинился ей как больной, безвольный человек. В художнической практике обыкновенно бывает так: художник, перенося на полотно или в роман волнующий его образ, тем самым отделывается внутренно от живого типа, натолкнувшего его на создание. Тут же вышло совсем обратное — живой тип был не таковский, чтобы от него легко отделаться… и, в свою очередь, поглотил художника!.. И что, между прочим, всего страннее в этой скорбной истории: чем сильнее ржевский проповедник бичует Гоголя (то есть чем глубже его поглощает), тем крепче тот к нему привязывается, тем душевно нежнее, трогательно признательнее становится оттенок гоголевских писем и записок к о. Матвею. А в последней, февральской записке своей к о. Матвею автор «Мертвых душ» как бы намеренно стирает малейший намек на свое литературное имя и смиренно подписывается: «Обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за гробом, весь ваш Николай…». Общее впечатление этой предсмертной записки — голос человека, окончательно отрешившегося от мира и втайне воспиявшего схиму.

Что послания о. Матвея в результате имели разрушительное действие на Гоголя — едва ли здесь приходится повторять… Но это было ничто в сравнении с живым словом. Испытанный оратор, о. Матвей тем более увлекался, чем очевиднее было впечатление на слушателя, и становился тем беспощаднее в своем обличении, чем беспомощнее оказывалась жертва. Впрочем, как явствует из брошюры доктора Тарасенкова о последних днях Гоголя, мотив обличения неизменно был тот же, то есть «не прилепляйся к земному, брат»: «Слабость тела не может нас удерживать от пощения; какая у нас работа? Для чего нам нужны силы? Много званых, но мало избранных… Путь в царствие Божие тесен! Мы отдадим отчет за всякое слово праздное!!!» и т. п. По словам того же Тарасенкова, однажды, когда о. Матвей зашел, видимо, чересчур далеко в своем обличительном пафосе, Гоголь не выдержал и простонал: «Довольно, довольно!., оставьте! Не могу далее слушать… Слишком страшно!!!».

Несчастный Гоголь!..

Трудно, право, представить сцену более разительного контраста… Гоголь — великий Гоголь, беспощадный сатирик, гениальный провидец сердца человеческого — бледный, потрясенный, почти скованный от ужаса в своем кресле… и перед кем же? Перед невзрачным и полуневежественным исступленным попом, пугающим его больное воображение лубочным свитком загробных мытарств… Разве только одна кисть Репина была бы в состоянии обессмертить на полотне эту захватывающую, тонко психологическую и глубоко национальную трагедию!..

Окончание трагедии известно… Непосредственно вслед за отъездом о. Матвея с Гоголем началась та, так сказать, «духовная агония», которая повлекла за собой стремительное физическое разрушение… и затем — смерть.

Было бы, однако, односторонним преувеличением приписывать личности о. Матвея исключительное влияние на безвременную кончину Гоголя. Он явился лишь «пятым актом» сложной трагедии, пережитой автором «Мертвых душ», роковая развязка которой подготовлялась исподволь, можно сказать, с того самого момента, когда получилось известие о смерти Пушкина… Кто знает, проживи долее Пушкин… и все было бы иначе? Как некогда поэт Петрарка спас своего друга Боккаччо своей здравой речью от аскетических филиппик картезианского монаха Чиани, увещевавшего автора «Декамерона» бросить сатанинское дело литературы, точно так же, быть может, две-три «гениальные беседы» Пушкина с глазу на глаз с Гоголем своевременно оберегли бы последнего на опасном распутье… По счастью, число односторонних фанатиков вроде о. Чиани и о. Матвея значительно поредело за последнее время, области художнического творчества и монастырского устава более не смешиваются, и существование на свете иноческого чина, по-видимому, нимало не препятствует прохождению и почитанию чина писательского. По крайней мере, большинство немудрых пастырских речей, произнесенных в недавние дни Пушкинского торжества, сводились в своей сущности к тому, «что Пушкин был несомненно избранник Божий, так как Бог его наделил талантом, какой отпускается не всякому человеку».

Этой ясной, как Божий день, мысли, очевидно, было не вместить полвека назад ржевскому пастырю, громко скорбевшему, подобно гордому отшельнику Ермию в известном рассказе Н. Лескова «Скоморох Памфалон», что нет на земле достойного человека, носящего в себе «зерно бессмертия»[1].

1901 г.

notes

Примечания

1

…